

### **10 класс**

Выполните *аналитическое задание* (с опорой на предложенные направления для анализа; время выполнения – 3,5 астрономических часа, максимальный балл – 70) и *творческое задание* (время выполнения – 1,5 астрономических часа, максимальный балл – 30).

*Максимальный общий балл за работу – 100 баллов (аналитическое задание – 70 баллов, творческое задание – 30 баллов).*

#### **1. Аналитическое задание**

***Проведите целостный анализ текста – прозаического ИЛИ поэтического.***

***Выполните целостный анализ произведения. Обратите внимание на следующие особенности его содержания и формы/поэтики: смысл названия стихотворения, двойственность лирического героя, функции паронимов «ностальгия», «настоятель», «настоявшаяся», «настанет»; неологизмов («пластик», «мафия»), церковных слов («рубщица», «к госпо-ду», «послушник»), просторечий («в рожу», «идиоты»), идеологического жаргона эпохи («тирады подленькие», «оступившийся товарищ»), метонимии («Но прикусываю как тайну ностальгию по настоящему, что настанет»); особенности рифмы.***

А.А. Вознесенский.

Ностальгия по настоящему

Я не знаю, как остальные,  
но я чувствую жесточайшую  
не по прошлому ностальгию —  
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к госпо-ду,  
ну а доступ лишь к настоятелю —  
так и я умоляю доступа  
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,  
или даже не я — другие.  
Упаду на поляну — чувствую  
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколлет.  
Но когда тебя обнимаю —  
обнимаю с такой тоскою,  
будто кто-то тебя отнимает.

Одиночества не искупит  
в сад распахнутая столярка.  
Я тоскую не по искусству,  
задыхаюсь по настоящему.

Когда слышу тирады подленькие  
оступившегося товарища,  
я ищу не подобья — подлинника,  
по нему грущу, настоящему.

Все из пластика, даже рублища.  
Надоело жить очерково.  
Нас с тобою не будет в будущем,  
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу  
идиотствующая мафия,  
говорю: «Идиоты — в прошлом.  
В настоящем рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,  
хлещет рыжая, настоявшаяся,  
хлещет ржавая вода из крана.  
Я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.  
Но прикусываю, как тайну,  
ностальгию по-настоящему.  
Что настанет. Да не застану.  
1976

### **ИЛИ**

**Выполните целостный анализ произведения Л.Н. Андреева «Гостинец».**  
**Обратите внимание на следующие особенности его содержания и формы/поэтики:** смысл названия, приём контраста в изображении героев, особенности их психологических портретов; функции образов природы, светлого праздника Пасхи и сравнения в финале рассказа.

**Л. Н. Андреев**

**Гостинец**

**I**

– Так ты приходи! – в третий раз попросил Сениста, и в третий раз Сазонка торопливо ответил:

– Приду, приду, ты не бойся. Еще бы не прийти, конечно, приду.

И снова они замолчали. Сениста лежал на спине, до подбородка укрытый серым больничным одеялом, и упорно смотрел на Сазонку; ему хотелось чтобы Сазонка подольше не уходил из больницы и чтобы своим ответным взглядом он еще раз подтвердил обещание не оставлять его в жертву одиночеству, болезни и страху. Сазонке же хотелось уйти, но он не знал, как это сделать без обиды для мальчика, шмурыгал носом, почти сползал со стула и опять садился плотно и решительно, как будто навсегда. Он бы еще посидел, если бы было о чем говорить; но говорить было не о чем, и мысли приходили глупые, от которых становилось смешно и стыдно. Так, его все время тянуло называть Сенисту по имени и отчеству – Семеном Ерофеевичем, что было отчаянно нелепо: Сениста был мальчишка-подмастерье, а Сазонка был солидным мастером и пьяницей и Сазонкой звался только по привычке. И еще двух недель не прошло с тех пор, как он дал Сенисте последний подзатыльник, и это было очень дурно, но и об этом говорить тоже нельзя.

Сазонка решительно начал сползать со стула, но, не доведя дело до половины, так же решительно вполз назад и сказал не то в виде укоризны, не то от утешения:

– Такие вот дела. Болит, а?

Сениста утвердительно качнул головой и тихо ответил:

Ну, ступай. А то он бранить будет.

– Это верно, – обрадовался Сазонка предлогу. – Он и то приказывал: ты, говорит, поскорее. Отвезешь – и той же минутой назад. И чтобы водки ни-ни. Вот, черт!

Но вместе с сознанием, что он может теперь уйти каждую минуту, в сердце Сазонки вошла острая жалость к большеголовому Сенисте. К жалости призывала вся необычная обстановка: тесный ряд кроватей с бледными, хмурыми людьми; воздух, до последней частицы испорченный запахом лекарств и испарениями больного человеческого тела; чувство собственной силы и здоровья. И, уже не избегая просительного взгляда, Сазонка наклонился к Сенисте и твердо повторил:

– Ты, Семен... Сеня, не бойся. Приду. Как ослобонюсь, так и к тебе. Разве мы не люди? Господи! Тоже и у нас понятие есть. Милый! Верить мне аль нет?

И с улыбкой на почерневших, запекшихся губах Сениста отвечал:

– Верю.

– Вот! – торжествовал Сазонка.

Теперь ему было легко и приятно, и он мог уже поговорить о подзатыльнике, случайно данном две недели назад. И он осторожно намекнул, касаясь пальцем Сенина плеча:

– А ежели тебя по голове кто бил, так разве это со зла? Господи! Голова у тебя очень такая удобная: большая да стриженная.

Сениста опять улыбнулся, и Сазонка поднялся со стула. Ростом он был очень высок, волосы его, все в мелких кудряшках, расчесанные частой гре-

бенкой, подымались пышно и веселой шапкой, и серые припухшие глаза искрились и безотчетно улыбались.

– Ну, прощевай! – сказал он, но не тронулся с места.

Он нарочно сказал «прощевай», а не «прощай», потому что так выходило душевнее, но теперь ему показалось этого мало. Нужно было сделать что-то еще более душевное и хорошее, такое, после которого Сенисте весело было бы лежать в больнице, а ему легко было бы уйти. И он неловко топтался на месте, смешной в своем детском смущении, когда Сениста опять вывел его из затруднения.

– Прощай! – сказал он своим детским тоненьким голоском, за который его дразнили «гуслиями», и совсем просто, как взрослый, высвободил руку из-под одеяла и, как равный, протянул ее Сазонке.

И Сазонка, чувствуя, что это именно то, чего не хватало ему для полного спокойствия, почтительно охватил тонкие пальчики своей здоровенной ладонью, подержал их и со вздохом отпустил. Было что-то печальное и загадочное в прикосновении тонких горячих пальчиков: как будто Сениста был не только равным всем людям на свете, но и выше всех и всех свободнее, и происходило это оттого, что принадлежал он теперь неведомому, но грозному и могучему хозяину. Теперь его можно было назвать Семеном Ерофеевичем.

– Так приходи же, – в четвертый раз попросил Сениста, и эта просьба прогнала то страшное и величавое, что на миг осенило его своими бесшумными крыльями.

Он снова стал мальчиком, больным и страдающим, и снова стало жаль его – очень жаль.

Когда Сазонка вышел из больницы, за ним долго еще гнался запах лекарств и просящий голос:

– Приходи же!

И, разводя руками, Сазонка отвечал:

– Милый! Да разве мы не люди?

## II

Подходила Пасха и портновской работы было так много, что только один раз в воскресенье Сазонке удалось напиться, да и то не допьяна. Целые дни, по-весеннему светлые и длинные, от петухов до петухов, он сидел на подмостках у своего окна, по-турецки поджав под себя ноги, жмурясь и неодобрительно посвистывая. С утра окно находилось в тени, и в разошедшиеся пазы тянуло холодком, но к полудню солнце прорезывало узенькую желтую полоску, в которой светящимися точками играла приподнятая пыль. А через полчаса уже весь подоконник с набросанными на него обрезками материй и ножницами горел ослепительным светом, и становилось так жарко, что нужно было, как летом, распахнуть окно. И вместе с волной свежего, крепкого воздуха, пропитанного запахом преющего навоза, подсыхающей грязи и распускающихся почек, в окно влетала шальная еще слабосильная муха и проносился разноголосый шум улицы. Внизу у завалинки рылись куры и

блаженно кудахтали, нежась в круглых ямках: на противоположной, уже просохшей стороне играли в бабки ребята, и их пестрый, звонкий крик и удары чугунных плит о костяшки звучал и задором и свежестью. Езды по улице, находящейся на окраине Орла, было совсем мало, и только изредка шажком проезжал пригородный мужик; телега подпрыгивала в глубоких колеях, еще полных жидкой грязи, и все части ее стучали деревянным стуком, напоминающим лето и простор полей.

Когда у Сазонки начинало ломить поясницу и одеревеневшие пальцы не держали иглы, он босиком и без подпояски, как был, выскакивал на улицу, гигантскими скачками перелетал лужи и присоединялся к играющим ребятам.

Ну-ка, дай ударить, – просил он, и десяток грязных рук протягивали ему плиты, и десяток голосов просили:

– За меня! Сазонка, за меня!

Сазонка выбирал плиту поувесистее, засучивал рукав и, приняв позу атлета, мечущего диск, измерял прищуренным глазом расстояние. С легким свистом плита вырывалась из его руки и, волнообразно подскакивая, скользящим ударом врывалась в середину длинного кона, и пестрым дождем рассыпались бабки, и таким же пестрым криком отвечали на удар ребята. После нескольких ударов Сазонка отдыхал и говорил ребятам:

– А Сениста-то еще в больнице, ребята.

Но, занятые своим интересным делом, ребята принимали известие холодно и равнодушно.

– Надобно ему гостинца отнести. Вот уж отнесу, – продолжал Сазонка.

На слово «гостинец» отозвались многие. Мишка Поросенок подергивал одной рукой штанишки – другая держала в подоле рубахи бабки – и серьезно советовал:

– Ты ему гривенник дай.

Гривенник была та сумма, которую обещал дед самому Мишке, и выше ее не шло его представление о человеческом счастье. Но долго разговаривать о гостинце не было времени, и такими же гигантскими прыжками Сазонка перебирался к себе и опять садился за работу. Глаза его припухли, лицо стало бледно-желтым, как у больного, и веснушки глаз и на носу казались особенно частыми и темными. Только тщательно расчесанные волосы подымались все той же веселой шапкой, и, когда хозяин, Гавриил Иванович, смотрел на них, ему непременно представлялся уютный красный кабачок и водка, и он ожесточенно сплевывал и ругался.

В голове Сазонки было смутно и тяжело, и по целым часам он неуклюже ворочал какую-нибудь одну мысль: о новых сапогах или гармонике. Но чаще всего он думал о Сенисте и о гостинце, который он ему отнесет. Машинка монотонно и усыпляюще стучала, покрикивал хозяин – и все одна и та же картина представлялась усталому мозгу Сазонки: как он приходит к Сенисте и подает ему гостинец, завернутый в ситцевый каемчатый платок. Часто в тяжелой дреме он забывал, кто такой Сениста, и не мог вспомнить его лица;

но каемчатый платок, который еще нужно купить, представлялся живо и ясно, и даже казалось, что узелки на нем не совсем крепко завязаны. И всем, хозяину, хозяйке, заказчикам и ребятам, Сазонка говорил, что пойдет к мальчику непременно на первый день Пасхи.

– Уж так нужно, – твердил он. – Причешусь, и той же минутой к нему. На, милый, получай!

Но, говоря это, он видел другую картину: распахнутые двери красного кабачка и в темной глубине залитую сивухой стойку. И его охватывало горькое сознание своей слабости, с которой он не может бороться, и хотелось кричать громко и настойчиво: «К Сенисте пойду! К Сенисте!»

А голову наполняла серая, колеблющаяся муть, и только каемчатый платок выделялся из нее. Но не радость была в нем, а суровый укор и грозное предостережение.

### III

И на первый день Пасхи и на второй Сазонка был пьян, дрался, был избит и ночевал в участке. И только на четвертый день удалось ему выбраться к Сенисте.

Улица, залитая солнечным светом, пестрела яркими пятнами кумачовых рубах и веселым оскалом белых зубов, грызущих подсолнухи; играли вразброд гармоники, стучали чугунные плиты о костяшки, и голосисто орал петух, вызывая на бой соседского петуха. Но Сазонка не глядел по сторонам. Лицо его, с подбитым глазом и рассеченной губой, было мрачно и сосредоточенно, и даже волосы не вздымались пышной гривой, а как-то растерянно торчали отдельными космами. Было совестно за пьянство и неисполненное слово, было жаль, что представится он Сенисте не во всей красе, – в красной шерстяной рубахе и жилетке, а пропившийся, паскудный, воняющий перегоревшей водкой. Но чем ближе подходил он к больнице, тем легче ему становилось, и глаза чаще опускались вниз, направо, где бережно висел в руке узелок с гостинцем. И лицо Сенисты виделось теперь совсем живо и ясно, с запекшимися губами и просящим взглядом.

– Милый, да разве? Ах, господи! – говорил Сазонка и крупно надбавлял шагу.

Вот и больница – желтое, громадное здание, с черными рамами окон, отчего окна походили на темные угрюмые глаза. Вот и длинный коридор, и запах лекарств, и неопределенное чувство жути и тоски. Вот и палата и постель Сенисты...

Но где же сам Сениста?

– Вам кого? – спросила вошедшая следом сиделка.

– Мальчик тут один лежал. Семен. Семен Ерофеев. Вот на этом месте. – Сазонка указал пальцем на пустую постель.

– Так нужно допрежде спрашивать, а то ломится зря, – грубо сказала сиделка. – И не Семен Ерофеев, а Семен Пустошкин.

– Ерофеев – это по отчеству. Родителя звали Ерофеем, так вот он и выходит Ерофеич, – объяснил Сазонка, медленно и страшно бледнея.

– Помер ваш Ерофеич. А только мы этого не знаем: по отчеству. По нашему – Семен Пустошкин. Помер, говорю.

– Вот как-с! – благопристойно удивился Сазонка, бледный настолько, что веснушки выступили резко, как чернильные брызги. – Когда же-с?

– Вчера после вечерен.

– А мне можно!.. – запинаясь, попросил Сазонка.

– Отчего нельзя? – равнодушно ответила сиделка. – Спросите, где мертвецкая, вам покажут. Да вы не убивайтесь! Кволий он был, не жилец.

Язык Сазонки расспрашивал дорогу вежливо и обстоятельно, ноги твердо несли его в указанном направлении, но глаза ничего не видели. И видеть они стали только тогда, когда неподвижно и прямо они уставились в мертвое тело Сенисты. Тогда же ощутился и страшный холод, стоявший в мертвецкой, и все кругом стало видно: покрытые сырыми пятнами стены, окно, занесенное паутиной; как бы ни светило солнце, небо через это окно всегда казалось серым и холодным, как осенью. Где-то с перерывами беспокойно жужжала муха; падали откуда-то капельки воды; упадет одна – кап! – и долго после того в воздухе носится жалобный, звенящий звук.

Сазонка отступил на шаг назад и громко сказал:

– Прощевай, Семен Ерофеич.

Затем опустился на колени, коснулся лбом сырого пола и поднялся.

– Прости меня, Семен Ерофеич, – так же отдельно и громко выговорил он, и снова упал на колени, и долго прижимался лбом, пока не стала затекать голова.

Муха перестала жужжать, и было тихо, как бывает только там, где лежит мертвец. И через равные промежутки падали в жестяной таз капельки, падали и плакали – тихо, нежно.

#### IV

Тотчас за больницей город кончался и начиналось поле, и Сазонка побрел в поле. Ровное, не нарушаемое ни деревом, ни строением, оно привольно раскидывалось вширь, и самый ветерок казался его свободным и теплым дыханием. Сазонка сперва шел по просохшей дороге, потом свернул влево и напрямик по пару и прошлогоднему жнитву направился к реке. Местами земля была еще сыровата, и там после его прохода оставались следы его ног с темными углублениями каблуков.

На берегу Сазонка улегся в небольшой, покрытой травой ложбинке, где воздух был неподвижен и тепел, как в парине, и закрыл глаза. Солнечные лучи проходили сквозь закрытые веки теплой и красной волной; высоко в воздушной синеве звенел жаворонок, и было приятно дышать и не думать. Полая вода уже сошла, и речка струилась узеньким ручейком, далеко на противоположном низком берегу оставив следы своего буйства, огромные, ноздреватые льдины. Они кучками лежали друг на друге и белыми треугольниками подымились вверх навстречу огненным беспощадным лучам, которые шаг за шагом точили и сверлили их. В полудремоте Сазонка откинул руку – под неё попало что-то твердое, обернутое материей.

Гостинец.

Быстро приподнявшись, Сазонка вскрикнул:

– Господи! Да что же это?

Он совершенно забыл про узелок и испуганными глазами смотрел на него: ему чудилось, что узелок сам своей волей пришел сюда и лег рядом, и страшно было до него дотронуться. Сазонка глядел – глядел – глядел не отрываясь, – и бурная, клокочущая жалость и неистовый гнев подымались в нем. Он глядел на каемчатый платок – и видел, как на первый день, и на второй, и на третий Сениста ждал его и оборачивался к двери, а он не приходил. Умер одинокий, забытый – как щенок, выброшенный в помойку. Только бы на день раньше – и потухающими глазами он увидел бы гостинец, и возродился бы детским своим сердцем, и без боли, без ужасающей тоски одиночества полетела бы его душа к высокому небу.

Сазонка плакал, впиваясь руками в свои пышные волосы и катаясь по земле. Плакал и, подымая руки к небу, жалко оправдывался:

– Господи! Да разве мы не люди?

И прямо рассеченной губой он упал на землю – и затих в порыве немого горя. Лицо его мягко и нежно щекотала молодая трава; густой, успокаивающий запах подымался от сырой земли, и была в ней могучая сила и страстный призыв к жизни. Как вековая мать, земля принимала в свои объятия грешного сына и теплом, любовью и надеждой поила его страдающее сердце.

А далеко в городе нестройно гудели веселые праздничные колокола.

*1901 г.*

## **2. Творческое задание**

***Социальная разобщенность, утрата классических ценностных ориентиров стали реальной угрозой культурной самобытности России. Нам необходимы точки опоры, духовные, нравственные. Попытки найти их обращают нас к творческому наследию российского филолога, культуролога, искусствоведа, академика РАН Д.С. Лихачева.***

***В статье «Письма о добром и прекрасном» учёный отмечал: «Каждый человек обязан (я подчеркиваю – обязан) заботиться о своем интеллектуальном развитии. Это его обязанность перед обществом, в котором он живет, и перед самим собой. Основной (но, разумеется, не единственный) способ своего интеллектуального развития – чтение».***

***Какова была бы ваша позиция в дискуссии о чтении как обязанности перед обществом? С кем из ее участников вы бы согласились, а кому возразили? По каким именно аспектам? Сформулируйте тему, на которую вам было бы по-настоящему интересно писать о русской литературе. Запишите свое «выступление» в дискуссии в рамках Лихачёвских чтений.***